

Оттепель

СВЯТОСЛАВ ТАРАХОВСКИЙ

СВЯТОСЛАВ ТАРАХОВСКИЙ

ОТВАЖНЫЙ

МУЖ В МИНУТЫ
СТРАХА



АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т19

Оформление – *Ферез Екатерина*

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Тараховский, Святослав

Т19 Отважный муж в минуты страха: [роман] / Святослав Тараховский. – Москва : АСТ, 2014. – 382, [2] с. – (Оттепель).

ISBN 978-5-17-084177-6

История о том, как в последние советские годы молодой журналист Агентства Печати Новости становится негласным сотрудником КГБ.

О его служебной командировке в Иран, шпионских интригах, ловушке, в которую он угодит, потерях и приобретениях. О его большой любви, которую он, спасибо ГБ, потерял. О том, что, пройдя школу ГБ, он становится в новое время олигархом и мысленно благодарит своих учителей из Большого дома на Дзержинке...

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Тараховский С.Э.
© ООО «Издательство АСТ»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Оркестрик удалился и унес музыку. Пауза нервировала.

Взгляд Сташевского порхнул от живописи к фарфору, бронзе, штукovinaм прикладного искусства в стеклянных витринах, перелетел пространство зала и в нетерпеливой дрожи завис над трибуной аукциониста и венчавшем ее законодательстве сделок — деревянном молотке на деревянной наковальне.

«Что они тянут, халдеи? — сверлил Сташевского вопрос. — Почему стопорят? Где праздник, негодяи?» В нем, как обычно, запустился счетчик ожидания: за ухом вздулась, застучала синяя жилка. Он снова обернулся к залу. Ого!

Страна бьется как раненый голубь, а народу на торги напоззло, словно муравьев на рафинад. Или это в основном зеваки?

«В основном да, но не все», — заключил Сташевский.

Вон они достойные жирные соперники: Мордовкин, Липский, Бабаян и даже редко вылезавший на

свет Арен. Рассеялись по залу от большой любви — подальше друг от друга, каждый со своим шнурком-телохранителем и советчиком-экспертом из музея. «Этим кексам только дай, — подумал Сташевский, — эти звери могут встрять, задрать ставки и поелозить по нервам, но не более того. Шансов у них, родимых, сегодня никаких».

Он догадывался, что война за пейзаж Поленова, игравшийся под номером восемнадцать, предстоит кровавая, но дал себе слово, что в этой войне всех перебьет. Денег у него вагон, любой Поленов для него бесценен и вообще он не любит уступать.

Тем более пейзаж, который он знает с самых нежных своих годов.

Размашистый окский плес, старая пристань с налипшими ракушками, ивы, мокнущие в темной воде, травяная гладь берега, тишина, неподвижность, вечность, мечта — все так, он все помнит как наяву; восемь лет ежегодных школьных каникул, прозвеневших как единый легкий праздник близ усадьбы Поленова под Тарусой, многое определили в жизни и никогда не забывались. Он без боя отдаст конкурентам любую другую картину — нате, жрите, красавцы! — но не может быть и речи о том, чтобы поленовский шедевр попал в лапы Мордовкина, Липского или гнилушки Арена, страдающего от перебора валюты во всех пазухах организма.

В его воображении уже вставали желанные видения: вот, сглатывая слюну вождения, он берет купленную картину в свои, ставшие нежными, руки, вот бережно, словно ребенка, вносит в дом на Рублевке и, торже-

ствуя, демонстрирует Ирине и дочери Марии. «Ирина особенно будет рада, — подумал он, — жена всегда рада, когда пухнет кубышка с добром, как всякая баба, она наперед смотрит, заранее страшется на случай развода или его, муженька, внезапного карачуна — и правильно делает, на здоровье, только пусть она, родимая, знает, что он собирается ее пережить».

Напольные английские часы восемнадцатого века тоненько, звонко-протяжно пробили-пропели полдень с четвертью, и на кафедру влетел, точно вспрыгнул на нашест, известный артист, ведущий аукциона, — пружинистый, худой, ярко одетый, он и впрямь походил на верткого петушка.

— Всем привет и доброго здравия! Уважаемые господа, мы начинаем! — сильным голосом с пивной хрипотцой объявил он, воздев в пространство руку с молотком. — Лот номер один! Русская школа, девятнадцатый век. Холст, масло, подпись отсутствует. Художник, вероятно, был скромн, пил горькую и предпочел остаться неизвестным. Начальная цена — двадцать тысяч рублей.

Длинноногая, с косыми коленями модель прошла по рядам с картиной, изображавшей наглуую голую березу, непонятно с какой целью прильнувшую к нищей избушке; вещь не вызвала покупательного рефлекса у публики и была снята с торгов. «До восемнадцатого лота дышу спокойно», — сказал себе Сташевский.

Лот номер два — ранний робкий натюрморт Александра Герасимова ушел по стартовой цене какому-то небритому сухонькому старикану, сластолюбиво, по такому поводу, ерзавшему в кресле в трех рядах справа от

Сташевского. «Сколько страсти у старости, — восхитился Сташевский. — Сколько нерастраченного либидо!»

Лот номер три оказался пошловатым кровавым закатом Ю. Клевера: солнце, с безнадежной красотостью валившееся меж ветвями в лесную чащу, тем не менее оживило зал. Свеклолицый апоплекс Мордовкин выставил торчком вялый указательный палец с зеленым перстнем, и никто не стал ему перечить, ни Липский, ни Бабаян, ни Арэн, ни прочая безденежная, но задиристая мелкота. Третий и последний удар молотка утвердил победу Мордовкина. «Акулы вкусили крови», — отметил Сташевский.

Четвертый и пятый лоты невыразительно проследовали друг за другом, выскочив в отстой со скоростью утиной кишки. Народ жаждал события, и оно явилось.

— Лот номер шесть, господа! — объявил аукционист и, выдержав интригующую паузу, растянулся в улыбке. — Вниманию почтенной публики предлагается мегашедевр великого нашего Ивана Христофоровича Айвазовского! Начальная цена — двадцать миллионов рублей! Господа из охраны, попрошу нам помочь...

Тут уж длинноногая модель была бессильна; двое охранников в черной униформе с английскими нашивками «секьюрити» на рукавах, отлепив огромную картину от стены, подтащили ближе к аудитории и, словно почетный караул, заняли места пообочь вещи.

«Будь объективен, — сказал себе Сташевский, — это и вправду шедевр». Ревущее море пенилось, бесилось, натурально выплескивалось холодной плотной массой на зрителя и, как пыль, гнало на скалы беспомощный

парусник с насекомыми фигурками обреченных людей. Он прочертил картину взглядом справа налево, потом слева направо и снова убедился в живописной мощи Айвазовского.

— Двадцать миллионов — раз! Я читаю ваши мысли, господа, но, согласитесь, за гениальное произведение искусства, сколько ни попроси, все будет мало. Итак, двадцать миллионов, кто больше? — взмыл, словно кукарекнул, на верхнюю ноту голос ведущего. — Номер седьмой во втором ряду — есть двадцать один миллион, господа! Пошло наше дело, поехало, полетело, понеслось, потому что оно — дело благородное! Кто больше?

В пику Липскому с новой ценой выступил Мордовкин, но его без промедления перебил Бабаян. «Нам, олигархам, убить олигарха — в радость», — заключил Сташевский.

Петушок-ведущий дразнил, провоцировал соперников на продолжение, битва за Айвазовского разгоралась, публика ахала от сладострастного удовольствия. Деньги-кровь поочередно лились из ран Бабаяна, Мордовкина и Липского до тех пор, пока чудище Арен, обнажив оружие, не налетел, точно из засады, на эту святую троицу, не смял, не растоптал их в прах своей смертоносной палицей-ценой. Богатство, столкнувшись с намного превосходящим его Богатством, превратилось в недомерка, завистливого и жалкого.

Самодовольство разливалось по столь же умной, сколь несимпатичной физиономии Арена. Взгляд Сташевского, оттолкнувшись от его безобразия, снова полетел было к Айвазовскому, но достигнуть великого по-

лотна ему уже было не дано. Ибо в полете с ним случилось событие чрезвычайное и почти медицинское: взгляд зацепился за совершенно неожиданное препятствие и влип в него, словно палец в свежий скотч.

Твою мать! Знай Александр за пять, за три, хотя бы за минуту заранее, что с ним такое произойдет, поднялся бы тихо-незаметно с места, затерся, затерялся бы в шуме торгов и публике и на полусогнутых вынес бы себя с поля боя. Но никому не дано знать будущее, отсутствие такого приспособления в человеке — возможно, самый большой недостаток его устройства. По воле случая или чьей-то лукавой каверзы глаза его споткнулись и застряли на охраннике, на том самом «секьюрити», что располагался справа от картины.

Не потому, что охранник был так уж грозен, а потому, что Сташевскому показалось, что он его узнал. Он еще не был уверен, что не ошибся, но даже этого «показалось» стало достаточно, чтобы, выражаясь деликатно, вспотеть.

Он?!

Не может этого быть.

Он, здесь? Откуда? Спустия столько лет? Даже предположить такое невозможно. «Бред! Галлюцинация!» — хотелось закричать Сташевскому, а все же почему-то не закричал, спохватился, что крик получится не слишком умным.

«Он, — как приговор объявил себе Александр. — Не обманывай себя, ты сразу понял: это он».

Его острый, точно форштевень корабля, нос, разваливающий надвое пространство перед собой, его шея с уступом кадыка, угловатые плечи, длинные руки, рост,

походка, его обычный острый прищур сквозь белесую завесу ресниц, его поредевший, посеревший, но не изменившийся пробор, которым, гоня по волосам узкую пластмассовую расческу, он раньше так гордился.

Жесть. Зачем ты снова, как пяткой на гвоздь, налетел на него, Санек, зачем опознал? Зачем кто-то или что-то снова свел вас в пространстве и времени? Сташевскому стало жарко.

Наверное, он вовсе здесь не случайно. Ему, должно быть, сейчас за шестьдесят, но такие на пенсию не уходят и, скорее всего, не умирают вовсе. Он в строю. Как всегда, мастеровито исполняет свою работу. Наблюдает — не исключено, что за ним, за Сташевским! — следит, стравливает, интригует, информирует, он винт великого замысла, и претензий к нему быть не должно: он таков, каков есть, он делает свое дело, и его надо понять.

Размышляя расширительно, Сташевский не мог не прийти еще к одной простой мысли: что, если и другой «секьюрити», напарник его, выполняет сейчас такое же деликатное задание? Сташевского и дальше неприятно осенило. Что, если и сам ведущий петушок-аукционист представляет здесь тот же самый тайный орден? Что, если им, орденом, всемогущим и героическим, организован весь аукцион вообще, и Поленов, как и Айвазовский, — лишь лакомые приманки для выявления недалеких сташевских — богатеньких Буратино с лишними денежками? Сташевский ахнул, фантазия смысла его с катушек и понесла в бурную даль. «Блин, — подумал Сташевский, — неужели я снова попал, снова влетел и запутался в этой паутине?»

Он поймал себя на том, что, стараясь оставаться незамеченным, слегка пригибается, прикрывается передними рядами присутствующих. «Что со мной? — тотчас одернул он себя. — Какого хрена я должен бояться? Прошло двадцать лет, больше! Мы живем в другой стране, во мне восемьдесят пять килограммов чистого здоровья, я богат, я верчу этой жизнью, как хочу, чего я задергался? Пусть дергается он, кадыкастый секьюрити, ничтожество, аппендикс великой канувшей страны».

«Встань во весь рост, — приказал себе Сташевский, — встань, объяви залу, кто и что он есть такое, пусть он тебя увидит, обрадуется и от большого счастья наложит в черную униформу — последнее было бы предпочтительней; встань, покажись, чтоб он ойкнул и задохнулся, а потом красиво, играя мышцами, как атлет в цирке, удались. И пусть он поймет, что не страх в тебе был, а простое нежелание пачкаться. А лучше не уходи вовсе, мозоль ему глаза абсолютно спокойно, а пожалуй, и вызывающе, бейся за Поленова и приобретай ему назло — кстати, лот уже скоро».

Мысли Сташевского смелели, нагтели, и сей процесс продолжался в нем до той минуты, пока охранник в черной импортной униформе не взглянул в зал, и Александру показалось, что взгляды их столкнулись. «Заметил? Узнал?» — спросил себя Сташевский, и вдруг мерзкая дрожь сбила с ритма ход его сердца, и он с изумлением сообразил, что вовсе не любопытство было сейчас главной его эмоцией, но страх; тот же самый, прежний, давний, далекий, отвратительный, ослабляющий страх, и дрожание, и трепет, что, казалось, бы-

ли забыты и вновь мгновенно в нем воскресли. «Что это? — спросил себя Сташевский. — Страх вернулся как недуг? как возвратная корь?»

Значит, все надо начинать заново?

Не аукцион интересовал теперь Сташевского; глаза и слух его были пристегнуты к тому, что делал его давний добрый знакомый. Секьюрити в черном не производил никаких чрезвычайных действий: он подтаскивал и оттаскивал картины, демонстрировал публике тяжелые предметы из бронзы, на улыбке переговаривался с напарником — из одной они песочницы, явно! — он держался обыденно и неприметно. «Профессионал, — подумал Сташевский, — виртуоз, тонкач, навыка не утратил». Воспоминания покатали на него как душные волны, отравили и отстранили от происходящего; глядя на сцену, он, казалось, уснул с открытыми глазами.

Последний лот, серебряный ковш с многоцветной эмалью, остался невостребованным; торги завершились, петушок-ведущий взлетел и исчез с высокой трибуны. Народ, загудев, начал расходиться, шум и общее движение воздуха потревожили Сташевского, он встрепенулся, казалось, ничего ему не стоило, растворившись в толпе, исчезнуть из зала и навечно забыть о сегодняшнем дне.

«Не уйти, — сообразил он, — не скрыться, их видаки меня уже схватили. Да что ж это я?! — вдруг возненавидел он себя. — Двадцать лет как я сбросил с себя удавку страха, теперь опять затягиваю ее на шею? Что делать?»

Есть только один-единственный способ победить в себе страх. Один и единственный, другого не дано. Вон

он, черное средоточие страха и обитель его. До него десять метров, не более. Десять метров и двадцать лет. Смогу?»

Он заставил себя подняться на ноги.

И, преодолев десять метров и двадцать лет, негромко, но жестко и точно, будто дротик, метнул в широкую черную спину, бросил: «Привет, Альберт»...

2

Телефон. Конечно. Он помнит. Кошмары и подвиги начались с него.

Черный, старый, с перекрученным шнуром, захватанный сотнями рук аппарат, что четверть века назад стоял на его рабочем столе в агентстве печати «Новости», и однажды весенним утром вздрогнул и заголосил как живой.

Лист бумаги, выползавший из его пишущей машинки, замер — он сочинял статью, он печатал, он не любил, когда его прерывали, он снял трубку с неудовольствием.

— Да.

— Сташевский? — спросила трубка. — Александр Григорьевич? Здравствуйте. С вами говорят из Комитета государственной безопасности...

Остаток того неприкаянного дня он посвятил поиску ответа на один простой вопрос: почему он? Сорок лет назад в жестокую войну НКВД наехало на его деда, теперь, в разгар перестроечной свободы, прихватывает его — почему? Чекисты действуют независимо от вре-

мени и веяний эпохи — это он уяснил сразу, но почему именно его род каждый раз попадает под их каток, и почему сейчас в их заброшенном неводе оказался именно он, Саша Сташевский? Проклятие запрятано в его генах, во внешности, в характере?

Непонятно. Невозможно понять...

Он был обычным парнем, рожденным в глухое советское время, почитаемое одними как славное, проклинаемое другими как застой.

Славянская генетическая закваска от бабушек и дедушек, плюс немного еврейского перчика, украинской горилки и татарского соуса тар-тар со стороны других бабушек и других дедушек — таков был его добротный, но, в общем, типичный советский замес.

До трех лет его никто не учил читать, считали, равновато; чтобы не приставал с вопросами, ему давали на растерзание детские книжки, карандаши и фломастеры — пусть ребенок срисовывает картинки и буквы. Однажды, в три года и шесть месяцев, когда мама кормила вернувшегося со смены киношника-отца, он притопал на кухню и начал читать Маршака — абсолютно свободно, без запинки. Отец, поперхнувшись, долго и тяжело выкашливал картофельное пюре.

Отец, директор картины на «Мосфильме», и мать, артистка Театра оперетты, были советскими интеллигентами в первом поколении, о своем деревенском первородстве старались не вспоминать, но оно коварно прорывалось в их поступках.

Их единственный и ненаглядный Саша родился в тот год, когда небогатая советская страна совершила